

ИВАН БУНИН И ЛЕВ ШЕСТОВ: ЛИТЕРАТУРНО-ФИЛОСОФСКИЕ ПЕРЕКЛИЧКИ

© 2010 г. Л. А. Колобаева

В статье оспаривается представление о философской индифферентности Бунина, о его равнодушии к современной ему философии. Предлагаемый опыт сопоставления творчества Бунина и Льва Шестова свидетельствует, что между ними существовала определенная типологическая близость (в отношении к смерти, любви, рациональному началу). Показано, что в ряде случаев речь может идти и о непосредственных “веяниях” философии Шестова, по-своему воспринятых Буниным.

The author calls into question Bunin’s alleged indifference to contemporary philosophy. The paper presents a comparison of Bunin’s work with Lev Shestov’s writings showing there was a certain typological affinity between them (their views of death, love, rationality, etc.). It is demonstrated that in some cases it may be assumed to be an indication of Shestov’s direct influence on Bunin’s outlook on life.

Духовный обмен между литературой и философией происходил, вероятно, всегда, но с разной степенью интенсивности и в разнокачественных формах. Вторая половина XIX–начало XX века отмечена становлением новой европейской – в том числе и русской – неклассической философии, которая активнейшим образом взаимодействует с литературой. В недавно вышедшей книге петербургского философа И.И. Евлампиева [1] рассматриваются основные фигуры, представляющие неклассическую философию этого времени: Шопенгауэр, Ницше, Достоевский и Бергсон. Философия всех четверых оказала, как известно, весьма сильное воздействие на русскую культуру, как современную им, так и будущую. Вызывая притяжение и отталкивание, их идеи живейшим образом впитывались, преобразовывались, прорастали новыми побегами в русской литературе.

Наш Серебряный век, как мы знаем, был исполнен ренессансным духом соединения, стремлением сблизить между собой и сроднить разные виды деятельности сознания – поэзию и науку, искусство и религию, литературу и философию. Сближение философии и художественной литературы в конце XIX–начале XX столетия совершалось на почве напряженнейшего поиска обновления миропонимания, в надежде обрести принципиально иные способы постижения бытия.

Философская жизнь в России того времени приобретала необычные черты. Мало сказать, что русская философская мысль заявила о себе целой плеядой блестящих имен – В. Соловьева, В. Розанова, С. Булгакова, Л. Шестова, Н. Бердяева, Е. Трубецкого, С. Франка и других, она начинала увлекать за собой широкую публику, расшевеливая духовную, интеллектуальную активность

общества. Ф. Степун в своей книге “Бывшее и несбывшееся” свидетельствует, что в разных городах России предвоенного десятилетия, не только в столице, были популярны лекции по философии, складывались философские кружки и объединения. По его впечатлениям, культурная, умственная жизнь в России того времени была, может быть, “менее разветвленной, чем европейская”, но “духовно более напряженной” [2, с. 263]. Ее особая духовная напряженность объяснялась, по его мнению, тем, что русская философия, по природе изначально экзистенциальная, для каждого, причастного к ней, связывалась с вопросом: как жить дальше? [2, с. 264].

Русская философия XX века надеялась найти обновление по преимуществу на путях *интуитивного творчества*, поэтому шла на сближение прежде всего не с наукой, рационалистическим знанием, а с искусством, с художественной литературой. Лев Шестов, например, писал: “Не пора ли бросить заключения и добывать истину а posteriori, как это делали Шекспир, Гете, Достоевский, и – все почти поэты...” [3, с. 205].

Под стать литературе философия меняла свои стилистические одежды. Отныне она хотела увлекать: философия, как сама жизнь, не может быть скучной, считал, например, Лев Шестов. В своих сочинениях он отказывался от позы всезнающего мудреца и пускался в рискованные “странствования по душам” (таков подзаголовок одной из его книг – “На весах Иова (Странствования по душам)” – с игрой образами, с парадоксами и афоризмами, иронией и лиризмом.

Современное свободное философствование, скажем, в лице В. Розанова или того же Шестова, могло импонировать тому или иному писателю

уже самой стилистической манерой и поддерживать его в собственных усилиях по обновлению художественных форм. А. Ремизов, к примеру, так отзывался о сочинениях В. Розанова: «“Уединенное”, “Опавшие листья” – ведь это целый роман, новая форма!» [4, с. 480].

“Блестящим стилистом” называли современники Шестова [5, с. 165]. Его мысль не была стеснена соображениями “системы”, она жила свободно, разветвленно и фрагментарно. Афоризмы, важнейший элемент его стиля, нужны были Шестову для “разрушения связности” [5, с. 227], для освобождения от общепринятых, ограничивающих автора рационалистических правил мышления, для высвобождения из-под диктата причинно-следственных отношений в слове.

Философия, в том числе и традиционная, классическая, осознавалась тогда как начало всепроникающее, участвующее в формировании даже самой “интимно”-индивидуальной стороны художественного творчества, *речевого строя* текста. Так, А. Ремизов замечал: “...Мы думаем мыслями Платона, Аристотеля, Канта, Заратустры, Ницше, *строю фразы*” (курсив наш. – Л.К.) [6, с. 307].

Взаимодействие текстов литературных и философских, разумеется, привлекало внимание литературоведов. Применительно к литературе XX века выделялись такие проблемы, как традиции платонизма и неоплатонизма в поэзии, Кант и неокантианство в эстетике, гностики и В. Соловьев, Ницше и символисты, философия Достоевского и литература начала XX столетия, Горький и Ницше, Маяковский и Ницше, Л. Шестов и Г. Газданов и др.

В предлагаемой работе проблема взаимодействия художественной литературы и философии, их “перекличек”, рассматривается лишь на одном, конкретном примере – взаимоотношения произведений Бунина и Шестова.

Сопоставление творчества художника Бунина и философа Льва Шестова, на первый взгляд, может показаться несколько неожиданным, даже натянутым. Ведь много раз в критической литературе о Бунине утверждалось, что Бунин был далек от каких-либо философских увлечений, отрицательно относился ко всякого рода отвлеченным умозрениям. И во многом это правда. Однако не вся правда.

В выпуске “Новых материалов” о Бунине опубликовано примечательное свидетельство Г. Адамовича из его письма Т.Н. Николеску, румынской исследовательнице творчества Бунина, автора монографии о нем (“Иван Бунин”, Бухарест, 1971).

На вопрос Т. Николеску о философских течениях в русской эмиграции и об отношении к ним Бунина Г. Адамович отвечает так: “Бунин никакого интереса к ним не проявлял – как и к философии вообще. *Исключение*, пожалуй, <...> одно – *Лев Шестов*. Но и его он любил не как философа, а как человека, часто у него бывал, т.к. был с ним в свойстве. Ценил Ф. Степуна, но тоже скорее как собеседника (в Грассе), чем как писателя” (курсив наш. – Л.К.) [7, с. 361].

Тот же Г. Адамович в письме к И. Бунину в январе 1932 г. говорил: «Но меня удивляет какое-то невмешательство литературы (здешней) в то, что делается в мире. Шестов любит цитировать фразу Плотина, кажется: “Великая и последняя борьба идет за человеческую душу”. Вот, что-то подобное происходит и сейчас... Мне кажется, что сейчас, пожалуй, только после войны, – человек вполне почувствовал свое одиночество: т.е. почувствовал пустоту, после исчезновения христианства. Коммунизм, конечно, спасение от одиночества, хоть и грубое, но на *первое время* верное. А что предлагается вместо него? Это будто и в голову никому не приходит. И никто не возражает на коммунизм и все “строительство”, как на что-то серьезное, не случайное не только по русским условиям, но и общим, мировым. Не возражает, вообще, став на их точку зрения, приняв ее, *как возможную*» [7, с. 23–24].

Великую борьбу “за человеческую душу” вели лучшие русские писатели зарубежья, Бунин и Шестов в числе первых.

Связь И.А. Бунина с Львом Шестовым – реальность, причем отнюдь не однолинейная и далеко не случайная. Это и личные взаимоотношения (что подтвердить не так уж сложно), и связь творческая, сопряженная с областью взаимодействия русской литературы, – писателя Бунина в частности, – с экзистенциальной философией. С.А. Кибальник в статье “Газданов и Лев Шестов” писал: «Книга Шестова “На весах Иова”, опубликованная в 1929 году, была одним из основных, до сих пор не оцененных источников экзистенциального сознания в русской литературе» [8, с. 218].

Со Львом Шестовым И.А. Бунин сближали личные, даже родственные отношения. Жена Шестова, Анна Елеазаровна Березовская, русский дворянский род которой был связан с такими, например, известными именами, как анархист князь Кропоткин, или С.А. Муромцев, председатель первой Государственной думы в России, была родственницей – “тетушкой”, как ее называл Иван Алексеевич, – Веры Николаевны Муромцевой, супруги Бунина. Они были очень дружны

между собой. Отношения самого И.А. Бунина и Льва Шестова, Льва Исааковича Шварцмана, тоже были дружескими. Об этом сохранилось немало свидетельств.

Дочь Шестова, Наталья Баранова-Шестова, написавшая книгу об отце, свидетельствует: “С Буниным у Шестова были дружеские отношения, и они и их семьи бывали друг у друга <...>” [9, т. 2, с. 61]. В дневнике “Устами Буниных” неоднократно фиксируются встречи Ивана Алексеевича и Веры Николаевны Буниных с Шестовым. Причем, эти встречи, разумеется, не ограничивались личными, семейными, домашними контактами. Так, 16/29 мая 1921 г. в дневнике Буниных Верой Николаевной сделана запись о лекции и диспуте по поводу доклада Шестова “De profundis”, который они слушали [10, т. 2, с. 40]; 27 января 1922 г. – запись Бунина: “Ходил к Шестовым... Он говорит, что Белый ненавидит большевиков, только боится, как и Ремизов <...>, статья эмигрантом...” [10, т. 2, с. 78]; 8 марта 1923 г. – запись Веры Николаевны: “Были у Шестовых. Интересный разговор о юродивых. Шест[ов] понимает их как не приемлющих жизнь и связывает с философами – Платоном, Плотиним и Диогеном” [10, т. 2, с. 109]; 1 февраля 1925 г. – “Интересный доклад Шестова” (ее же запись) [10, т. 2, с. 135] и др. Бунин и Шестов встречались также в рамках Религиозно-философского общества в Париже. Л. Шестов, в частности, в письме к Ловцким (сестре Шестова Фаине и ее мужу) от 3 мая 1921 г. сообщает о первой встрече с Буниным по приезде в Париж, из Женевы, в начале эмиграции: “Сегодня вечером буду на заседании религиозно-философского общества – я уже с Мережковским и Буниным виделся. Встретились очень дружески” [9, т. 1, с. 210]. Позже Бунин не раз бывал в доме Шестовых на торжественных приемах, устроенных, к примеру, в честь Томаса Манна и Макса Шелера [9, т. 1, с. 210].

Немаловажен факт переписки Бунина с Л. Шестовым. Н. Баранова-Шестова отмечает: “В архиве Шестова сохранились шесть писем Бунина: одно поздравление к 70-летию (Льва Шестова. – Л.К.) и пять, написанных в 1930–1931 гг. по поводу кандидатуры Бунина на Нобелевскую премию <...>” [9, т. 2, с. 61]. Знаменательно это обращение Бунина с ответственным поручением-просьбой – по поводу выдвижения его кандидатуры на Нобелевскую премию – именно к Шестову, как к другу и надежному человеку. Приведем выдержку из письма Бунина к Шестову от 21.12.1930 г. по этому поводу: «Вчера получил известие, что на торжестве раздачи нобелевских премий в Стокгольме один из членов Нобелев-

ского комитета сказал русскому журналисту, что я имел в прошлом году очень много шансов на получение нобелевской премии... что “вернейшим кандидатом на 1931 г. является Бунин” и что необходимо, чтобы любой профессор-славист любого университета или какой-нибудь писатель, получивший в свое время нобелевскую премию, “снова выставил кандидатуру Бунина до 31 января 1931 г.” Дорогой Лев Исаакович, помогите мне: напишите поскорее Томасу Манну, прося его, как лауреата, выставить мою кандидатуру официально. Он многое знает из моих произведений, он писал мне, сравнивая меня с Толстым, и думаю, не откажет» [9, т. 2, с. 62]. Шестов просьбу выполнил, и Бунин в письме от 27.12.1930 г. горячо благодарил его: “Не знаю, как благодарить Вас за Вашу доброту, за ту сердечность, с которой Вы отнеслись к моей просьбе, и за то прекрасное, столь лестное письмо, которое Вы послали Манну” (курсив наш. – Л.К.) [9, т. 2, с. 62]. Оценка Шестовым писателя Бунина, выразившаяся в его письме к Манну, была, по слову самого писателя, очень “лестной”.

Творчески-дружеская связь Бунина и Шестова проявлялась также в том, что они обменивались между собой своими книгами, посылая их друг другу с теплыми дарственными надписями. Так, Н. Баранова-Шестова свидетельствует: «По выходе “На весах Иова” Шестов послал книгу Ивану Алексеевичу Бунину, который тогда жил в Грассе. Писательница Галина Николаевна Кузнецова, жившая тогда у Буниных, очевидно, прочла книгу раньше Бунина. Ее поразило сказание об ангеле смерти, которое Шестов передает в начале главы “Преодоление очевидностей” <...>». Кузнецова записала в дневнике: “Читаю Шестова. Много говорю о нем с Иваном Алексеевичем. Рассказала, между прочим, легенду об ангеле смерти, сплошь покрытом глазами. Это сказание меня необычно взволновало. А Алексей Иванович даже думает его ввести в роман (Грасс. 8.06.1929)” [9, т. 2, с. 35–36].

Показателен и другой факт из истории бунинско-шестовских взаимоотношений. Он примечателен уже тем, что стал нам известен не из парижского издания, а из первой публикации шестовских материалов в советской России. Это была публикация цикла афоризмов Шестова с тремя его портретами – Р. Фалька, С. Сорина и Л. Пастернака [11]. Здесь же была дана фотография титульного листа книги И. Бунина “Чаша жизни” (Париж, 1921) с дарственной надписью: “Дорогому Льву Исааковичу Шестову на память о наших встречах. Ив. Бунин. 21 мая 1922” [11, с. 89].

Однако самая значительная и сложная задача состоит в необходимости понять, на каком поле возникала возможность соприкосновения их взглядов на мир, ответить на вопрос, существовала ли какая-либо общность в их творчестве и если да, от чего она проистекала и как выражалась.

Первые, самые общие, ответы лежат на виду: немало сходного было в их судьбе – жизнь в России в момент ее исторических перевалов и катаклизмов, изгнанничество, эмигрантское существование во Франции, в Париже (начавшееся почти одновременно, в 1920 г.), неприятие большевизма и революции (“Окаянные дни” Бунина и брошюра Шестова “Что такое русский большевизм?”), позиция “самостояния” вне групп и течений, “особняком”, характерная для того и другого. С глубокой болью, подобно Бунину, Шестов раздумывал о России и русском народе в годину исторических испытаний. В письме к дочерям в 1921 г. (10.03) он признавался: “Чем кончатся события русские, трудно угадать. Надеяться на многое едва ли можно. Очень уж темен русский народ – трудно ему понять, что ему самому нужно. Конечно, большевиков в России и презирают, и ненавидят, но как нужно устроиться, люди не знают. Пожалуй, опять, как когда-то, кончится призыванием варягов <...> придут поклониться Западу и просить у него помощи <...> Но, конечно, как и когда-то, так и теперь, Россия свое возьмет и возродится. Все-таки огромный, способный народ, имеющий свою вековую историю – такое не может погибнуть” [9, т. 1, с. 205].

Сближала Бунина с Шестовым, разумеется, их погруженность в литературу, особенно русскую. Философия Шестова, почти вся, рождена размышлениями над духом художественной литературы. Неслучайно некоторые исследователи называют его критиком или даже литературоведом, хотя это, конечно, правда неполная. Ему принадлежат труды о Шекспире, Ибсене, Пушкине, Достоевском, В. Соловьеве, Льве Толстом, Гоголе, Тургеневе, Чехове, Ф. Тютчеве, Ф. Сологубе, Вяч. Иванове, В. Розанове и др. Несомненны некоторые общие для Бунина и Шестова литературные симпатии и привязанности – например, к Льву Толстому и Чехову, которые были, как известно, высшими авторитетами для Бунина. Дочь Шестова, описывая последнюю комнату отца, замечает: «Над столом, на стене несколько портретов, среди них фотографии Толстого и Чехова, про которые Шестов сказал Фондану: “Самое важное для меня в этой комнате, быть может, портрет Толстого <...> или Чехова, сколь бы малы и незначительны они ни казались»» [9, т. 2, с. 56].

Бунин разделял общую оценку чеховского таланта, данную Шестовым. Об этом можно судить по тому, как отзывался он о статье философа, посвященной Чехову, – “Творчество из ничего”, вышедшей в журнале “Вопросы жизни” в марте 1905 г. В очерке “Чехов”, опубликованном в берлинском “Собрании сочинений” Бунина, в 1935 г., оспаривая распространенные суждения о том, что Чехов любил людей “мягких”, слабых, и утверждая, напротив, что его, Чехова, “влекли сильные и умные люди”, Бунин выделяет как лучшую работу Шестова, противопоставляя ее ряду неверных представлений о Чехове: «Говоря о нем [Чехове], даже талантливые люди берут неверный тон. Например, Елпатьевский: “Я встречал у Чехова людей добрых и мягких, нетребовательных и неповелительных, и его влекло к таким людям... Его всегда влекли к себе тихие долины, с их мглой, туманными мечтами и тихими слезами...” Короленко характеризует его талант такими жалкими словами, как “простота и задушевность”, приписывает ему “печаль о призраках”. **Одна из самых лучших статей о нем принадлежит Шестову, который называет его беспощадным талантом**» (выделено мной. – Л.К.) [12, с. 226].

В этом слове о “беспощадности”, беспощадной зоркости глаза, в высшей степени свойственной и самому Бунину и Л. Шестову, таится отблеск глубинной сути того и другого. “Стыдно сказать, а нельзя скрыть”, – это важнейший принцип художника Бунина, высказанный словами одного из его героев. Неповторимый тон творчества и возникал из неожиданного соединения в его произведениях “беспощадной” трезвости взгляда на вещи и примиряющего с жизнью лиризма. Нечто в основе близкое к этому мы находим в философских трудах Шестова. В своей книге “Достоевский и Ницше (Философия трагедии)” Шестов утверждал: “Задача человека <...> в том, чтоб уметь *принять действительность со всеми ее ужасами*” (курсив наш. – Л.К.) [13, с. 237]. Цель философии, “философии трагедии”, он видел “не в том, чтоб научить нас смирению, покорности, самоотречению”, – с его точки зрения, это делает “философия обыденности” с ее “моралью приспособления”, – а в том, чтобы научить человека безбоязненно “жить в неизвестности”, не страшась ужасов жизни [13, с. 241–242].

Краеугольный камень шестовской философии, философии трагедии – индивидуальная судьба, “основная проблема человеческой жизни, корень всех религий”, по словам Н. Бердяева [14, с. 269]. Индивидуальная судьба по определению сопряжена с трагедией, потому что ей рано или поздно угрожает “ужас небытия”, прорываю-

щийся в душе человека в моменты его кризисов, пика страданий. По Шестову, единственно важен “только опыт смерти или равнозначный ей опыт трагического переживания, который открывает человеку глаза на суетность всяких земных привилегий, не исключая и моральных” [15, с. 256].

Философия трагедии во многом созвучна художественному миру Бунина. Надо сказать, атмосферой трагического дышит почти вся литература начала XX века, в отличие от гармоничного духа классики, – это поэзия А. Блока, А. Белого, Ф. Сологуба, И. Анненского, Вяч. Иванова, позднее творчество Чехова, проза Л. Андреева, отчасти А. Куприна и многих других. Пытаясь приблизиться к пониманию основополагающих глубин в мировосприятии наших героев, необходимо подойти к проблеме “опыта *смерти*” в человеческой жизни. Она занимает одно из центральных мест в художественном мире Бунина, как и в философии Шестова. Справедливо говоря о “повышенном чувстве жизни”¹ в творчестве Бунина как главным его истоке и художественном качестве, мы признаем всего лишь половину правды о нем. С тем же основанием мы должны говорить и о его *повышенном чувстве смерти*. Бунин признавался в том, что он думает о смерти беспрестанно. Эти думы не оставляли его даже в радостные моменты его жизни. Вот один пример. Во время своего морского путешествия на Цейлон в 1911 г., которое его радовало и волновало, 20 февраля Бунин делает в дневнике такую запись: “Я именно из тех, которые видя *колыбель*, не могут не вспомнить о *могиле*. *Поминутно думаю*: что за странная и страшная вещь наше существование, – каждую секунду висишь на волоске! Вот я жив, здоров, а кто знает, что будет через секунду с моим сердцем, которое, как и всякое человеческое сердце, есть нечто такое, чему нет равного во всем творении, по таинственности и тонкости?” (курсив наш. – Л.К.) [10, т. 1, с. 98]. Острейшее чувство смерти у Бунина – факт биографический и творческий. Вера Николаевна Муромцева-Бунина, жена писателя, в дневнике не раз отмечала это его свойство (например, в записи конца 1926 г.: “Да, тяжело он отрывает от себя каждый год” [10, т. 2, с. 163]), как и сам Бунин (“Как действует на меня смерть!” [10, т. 2, с. 78]).

Из чего это проистекало? У Бунина колебалась и утрачивалась вера в бессмертие души, личное воскресение. В дневниках “Устами Буниных” это

находит отражение в записях Веры Николаевны о Бунине, Яне, как она его называла. В записи от 18 марта 1925 г. сказано: “Ян верит, что существует нечто выше нас, но после смерти не будет личного воскресения...” [10, т. 2, с. 138]. Еще раньше, 9 февраля 1923 г., Вера Николаевна замечает: “Ян верит в бессмертие сознания, но не своего Я” [10, т. 2, с. 108]. Все это усиливало ощущение *беспочвенности*, особенно в начале 20-х годов, в первые годы эмиграции, особенно после смерти горячо любимого брата Юлия в 1921 г. “Земля уходит из-под ног...” – такие признания не раз вырываются из-под пера писателя в его дневнике (1922 г.) [10, т. 2, с. 5]. Но обостренное отношение к смерти было не временным, а устойчивым его состоянием и качеством мировосприятия. Не оставляющее его чувство конечности, мгновенности бытия питало необычайную остроту и напряженность его жизнеощущения в целом. Способность *ценить* жизнь – при всех ее противоречиях и ужасах – становилась в творчестве Бунина главным ценностным критерием.

И все это какими-то своими сторонами перекликалось с философией трагедии Шестова, с тем углом зрения на мир, который он называл “откровением смерти”. По Шестову, открытие истины возможно только через трагедию, в испытании смертным ужасом, отчаянием, которые выбивают у человека почву из-под ног, лишают его опор в аксиомах разума, привычных установках морали. В такие моменты у человека переворачиваются все его представления о жизни, рождается новое, усиленное, второе зрение. Так произошло с Достоевским, доказывал Шестов в своей книге “Достоевский и Нитше (Философия трагедии)” (1903). После каторги Достоевский открывает феномен “подпольного человека”, обнаруживая, по мнению Шестова, присутствие его в себе, значит, в *каждом*, – тем самым по-иному, чем прежде, взглянув на природу человека.

«Из каторги он (Достоевский. – Л.К.) вынес “убеждение”, что задача человека не в том, чтоб плакать над Макаром Девушкиным и мечтать о таком будущем, когда никто никого уже не будет обижать, а все устроится спокойно, радостно и приятно, а в том, чтоб *уметь принять* действительность со всеми ее *ужасами*» (курсив наш. – Л.К.) [13, с. 237]. Новое, “двойное зрение” писателя являло себя плодом “откровений смерти”.

Несомненные параллели с подобным ходом мысли просматриваются у Бунина в его эссе “Освобождение Толстого”. И эти параллели отнюдь не случайны и действительно могут быть расценены в качестве шестовских “веяний”, как

¹ Эти слова, сказанные Буниным о себе, легли в основание последней книги О.Сливицкой [16]. Изначально же они принадлежат Ф. Ницше и содержатся в его работе “О пользе и вреде истории для жизни” [17, с. 115].

это впервые было отмечено Н. Барановой-Шестовой, сказавшей о воздействии на Бунина статьи Шестова о Достоевском “Преодоление самоочевидностей”, которая вошла в книгу “На весах Иова” (1929), и главы о Толстом “На страшном суде” той же книги: «Глава “На страшном суде” книги “На весах Иова”, посвященная Толстому, очевидно, тоже произвела сильное впечатление на Бунина, и весьма вероятно, что некоторые мысли 16-й главы “Освобождение Толстого” были навеяны Бунину работой Шестова...» (курсив наш. – Л.К.) [10, т. 2, с. 37].

“Освобождение Толстого” по жанру – эссе, в котором, как это свойственно данному жанру, соединяются разные начала: биографические, автобиографические, мемуарные и образно-философские. Тон задается именно философским началом. Структура текста пронизана философскими высказываниями из разных источников – Марка Аврелия, Платона, Плотина, Еврипида, Пифагора, Библии, Будды, Шопенгауэра, Вл. Соловьева и Шестова. Центральное место среди них занимают цитаты из Шестова. Суть выдержек из его работ – в том, чтобы применительно к Толстому развернуть идею “memento mori”, близкую в чем-то к шестовской философии “откровений смерти”. Но главное, разумеется, не в цитировании. Образ смерти Толстого и “борьбы” с ней Бунин делает фокусом произведения. Разгадку феномена Толстого Бунин ищет в его **конце** и начинает повествование с момента знаменитого **“ухода” и смерти** великого писателя. Переворачивая композицию произведения – ставя финал в начало, автор эссе делает философский мотив смерти ключевым, а сердцевинным его смыслом – мотив “освобождения”. «Астапово – завершение “освобождения”, которым была вся его [Толстого] жизнь <...>» [18, т. 9, с. 7].

Это оправдано тем, что Толстой, по убеждению Бунина, все жизненные явления воспринимал и оценивал “под знаком смерти, величайшей переоценки всех ценностей” [18, т. 9, с. 133]. Именно здесь и сходится Бунин с Шестовым. В вольном изложении он приводит большую выдержку из книги “На весах Иова. (Странствования по душам)”, из раздела о Достоевском (“Часть первая. Откровения смерти”. – “Преодоление самоочевидностей”. (К столетию рождения Ф.М. Достоевского)): «Философ Шестов говорит, что в одной мудрой древней книге сказано: кто хочет знать, что было и что будет, что под землей и что над небом, тому бы лучше совсем на свет не родиться; и еще так сказано в этой книге: ангел смерти, слетающий к человеку, чтобы различить его душу с телом, весь покрыт глазами; и случает-

ся, что он слетает за душой человека слишком рано, когда еще не настал срок человеку покинуть землю, и тогда удаляется от человека, отметив его, однако, некоторым особым знаком: оставляет ему в придачу к его природным глазам еще два глаза, – из бесчисленных собственных глаз, – и становится тот человек непохожим на прочих: видит своими природными глазами все, что видят все прочие люди, но сверх того и нечто другое, недоступное простым смертным, – видит глазами, оставленными ему ангелом, и притом так, как видят не люди, а “существа иных миров”: столь противоположно своему природному зрению, что *возникает великая борьба в человеке, борьба между его двумя зрением*».

Все это Шестов говорит в своей статье о Достоевском, – приписывает две пары глаз автору “Записок из подполья”. Но, читая ее, думаешь о Толстом: если уж кто наделен двойным зрением и именно от *ангела смерти*, слетевшего еще к колыбели его, так это Толстой» [18, т. 9, с. 132–133].

Под таким углом зрения и освещается Буниным весь путь Толстого и его духовное существо. Это жизнь с ощущением постоянного “присутствия” в ней смерти, что перекликается с одним из кардинальных мотивов Шестова о смешанности жизни и смерти в обыденном человеческом существовании. И одновременно – это поиск “освобождения от смерти”; последние слова, взятые из книги “Поучение Будды”, открывают собою бунинское эссе. Таковы, в понимании Бунина, некие внутренние полюсы существа Толстого, исток мощного трагизма его духа. Духовный облик героя эссе вырисовывается в свете двух основных устремлений – отстоять свойственное ему глубочайшее чувство собственного “я”, защитить свою “особенность” и в то же время – ее “разрушить”, стать, “как природа”, как “олень”, “как дядя Ерощка” [18, т. 9, с. 30] из “Казаков”, как все, подчиниться “ощущению Всебытия”. Великая беда Толстого, по мнению Бунина, состояла в том, что он, желавший чувствовать себя “оленем” или дядей Ерощкой, с необыкновенной силой осознавал себя чем-то несоизмеримо большим и иным – “рамкой, в которой вставилась часть единого *божества*” [18, т. 9, с. 30].

Очерк Бунина строится как пересмотр сложившихся тогда представлений о великом писателе, рождается из стремления снять с его портрета налет “пошлой торжественности”, с какой, например, писали о Толстом в дни его похорон, или оспорить попытку свести его образ “одного из самых необыкновенных людей, когда-либо живших на свете” [18, т. 9, с. 33], к некоей усредненной

человеческой “норме”, как это делал, по мнению Бунина, итальянский поэт Чинелли в своей книге о Толстом (Толстой, мол, не пророк, не святой, а в меру здоровый и грешный человек). В “Освобождении Толстого” содержится и не столь явная, но вполне определенная полемика с Д. Мережковским, автором интереснейшего исследования “Л. Толстой и Достоевский”. Весь бунинский очерк направлен на опровержение того представления, которое восходило к Мережковскому, что Толстой был певцом не духа, а плоти, что ему «доступна была только “плоть мира”». По Бунину же, «Толстой никогда не был “эллином”» [18, т. 9, с. 162], т.е. певцом “телесного”.

В шестовском ключе осмысляет Бунин и роль поздних произведений Толстого – таких, как “Записки сумасшедшего”, “Хозяин и работник”, “Смерть Ивана Ильича”, “После бала”, о которых Шестов говорит в той же главе “На Страшном Суде. (Последние произведения Л.Н. Толстого)”. Здесь философ задается вопросом: “Что ему [Толстому] открыла смерть?” [19, с. 98] – и полагает, что ответ на вопрос содержится именно в этих произведениях, прежде всего в “Записках сумасшедшего”, представляющих собой “ключ к творчеству Толстого” [19, с. 102], его “теорию познания”. Шестов рассматривает случай в Арзамасе (1869) (через 15 лет он отразится в рассказе “Записки сумасшедшего”), когда его автор испытал приступ невыносимой тоски, смертного ужаса, когда “почва” уходила под ногами и “как-то и жизнь, и смерть сливались в одно”, а вся прежняя жизнь обесценивалась: все это стало **ничто** (покупка имения, жена). По убеждению Шестова, за **случаем**, когда человек соприкасается с ужасом смерти, встает **откровение**, откровение истины. Однако, чтобы воспринять открывшуюся истину, человеку не нужно забывать, что «наша логика, логика людей, добывающих хлеб в поте лица, в корне извратила нашу познавательную способность, приучивши нас думать так, как того требуют законы нашего земного устройства. Знать, думать может только тот, кому *нечего делать*, кто “случайными” *par excellence* обстоятельствами выброшен из общего всем мира и, предоставленный самому себе и только себе, постигает, что истина, по самому существу своему, не может быть необходимой и общеобязательной. Для такого человека “случай”, столь гонимый и презираемый наукой и “нашим я”, становится главным предметом любознательности. Он решается воспринимать, ценить и даже выявлять скрытое в “случайном” и невидимое для озабоченного земными делами и подавленного общественными требованиями разума откровение... Таким был

последний великий философ древности – Плотин. Таким был и Толстой» [19, с. 128].

В интерпретации Шестова, арзамасский “случай” помог Толстому открыть истинную сущность *обыденного* человеческого существования – с компромиссами, уступками фальши, “моралью приспособления”. И силой “двойного зрения” осуществлялась затем в его поздних произведениях переоценка этой жизни.

Как кульминационный этот “случай” выделен и в эссе “Освобождение Толстого”. Бунин приводит письмо Толстого Софье Андреевне с рассказом об арзамасском “ужасе”: “Что с тобой и с детьми? Не случилось ли что? Я второй день мучаюсь беспокойством. Третьего дня в ночь я ночевал в Арзамасе, и со мной было что-то необыкновенное. Было два часа ночи, я устал страшно, хотелось спать, и ничего не болело. Но вдруг на меня напала тоска, страх, ужас, каких я никогда не испытывал. Подробности этого чувства я тебе расскажу впоследствии, но подобного мучительного чувства я никогда не испытывал, и никому не дай бог испытать” [18, т. 9, с. 134].

Затем Бунин обращается к толкованию рассказа Толстого “Записки сумасшедшего” и подчеркивает в нем те же, что и Шестов, моменты, но уже со своими акцентами. Вот выдержки из внутреннего монолога героя рассказа:

“Я убегаю от чего-то страшного, и не могу убежать <...>”;

«“Да что это за глупость, – сказал я себе, – чего я тоскую, чего боюсь?”

– *Меня, – неслышно отвечает голос смерти. – Я тут <...>*»;

“А теперь я не боялся, я видел, чувствовал, что смерть наступает, а *вместе с тем чувствовал, что ее не должно быть <...>*”;

“*Ничего нет в жизни, есть только смерть, а ее не должно быть. Я пробовал думать о том, что занимало меня: о покупке, о жене. Ничего не только веселого не было, но все это стало ничто. Все заслонял ужас за свою погибающую жизнь <...>*”;

“Кажется, что смерти страшно, а вспомнишь, подумаешь о жизни, то *умирающей жизни страшно*. Как-то жизнь и смерть сливались в одно” [18, т. 9, с. 135].

Обратим внимание на то, что Бунин, в отличие от Шестова, подчеркивает (в том числе и графически в цитате из Толстого) не только повторяющийся мотив ужаса смерти, но и попытки *освобождения* от нее в сознании: мотив – “ее [смерти] *не должно*

быть”, трижды звучащий в тексте Толстого и выделенный бунинским курсивом.

И этот последний мотив – сквозной в эссе Бунина о Толстом. Особенно сильно он звучит в его кульминационных главах – XV и XVI; например, в таких авторских суждениях, оформленных как афоризмы, что перекликается, кстати, и со стиливой манерой Шестова: «...Невыносима всякая человеческая жизнь – “пока не найден смысл ее – спасение от смерти”» [18, т. 9, с. 125]. Или: “Нужна такая жизнь, которой смерть не страшна. Какая же? На это отвечает только религия, религия христианская <...>” [18, т. 9, с. 130].

Решение проблемы религиозного начала в творчестве Бунина – пока еще впереди. Но уже теперь можно сказать, что бунинский пафос экзистенциальной самооценности *жизни* был сопряжен с поиском живого Бога, “присутствующего” в человеке. И это опять-таки созвучно религиозному экзистенциализму Шестова, его размышлениям, в частности, в статье о Толстом 1908 г. Здесь он писал: «Если *Бог есть жизнь*, если *присутствие Бога в человеке* узнается потому, что в человеке пробуждается *сила жизни*, то безусловно Бог был в Толстом эпохи “Войны и мира”» (курсив наш. – Л.К.) [20, с. 86].

Глубинная суть главного героя эссе договаривается, завершается обликом его смерти. “Уход” Толстого истолкован в эссе как торжество его мощной *духовной природы*. Это “освобождение” от “разногласия” со своею совестью (а его совесть питалась “обостренным ощущением Всебытия”, единства мира), отказ от личной жизни, с давно назревшим в сознании художника отрицанием “закона совокупления”, который “необязателен”, порыв к освобождению от *форм жизни*, которые не есть ее сущность, – от *времени и пространства*, от “проявлений” бытия. Последними предсмертными словами Толстого, приведенными в эссе, были: “Довольно проявлений” [18, т. 9, с. 28].

Толстовский “уход” в изображении Бунина был “возвратом к Богу”, к вечности и бессмертию: «“Смерти празднуем умерщвление... инаго жития вечного начала...” – Так поет церковь, отвергнутая Толстым. Но песнопений веры (веры вообще) он не отвергал. *Что освободило его?* Пусть не “Спасова смерть”. Все же “праздновал” он “Смерти умерщвление”, чувство “инаго жития вечнаго” обрел. А ведь все в чувстве. Не чувствую этого “Ничто” – и спасен» (курсив наш. – Л.К.) [18, т. 9, с. 165].

В главе “На Страшном Суде” (“На весах Иова”) Шестов, говоря об особой “теории познания” Толстого, выразившейся в “Записках сумасшед-

шего”, рассматривает под этим углом зрения и повесть “Смерть Ивана Ильича”, и рассказ “После бала”, где ярчайшим образом выразились два способа, два “видения” действительности великого писателя.

В “Смерти Ивана Ильича”, как известно, в свете “страшного, ужасного акта <...> умирания” героя открывается пустота и бессодержательность всей его жизни. По утверждению Шестова, «дело тут не в ординарности Ивана Ильича – а в *ординарности “общего всем мира”* <...>» [19, т. 2, с. 134], то есть мира, живущего, в понимании философа, не по требованиям свободного, индивидуального бытия, а по законам “общего” земного устройства.

Описав рассказ “После бала”, – образы бала, сверкающего весельем и красотой жизни, и отрезвляющего утра с картиной ужасного истязания провинившегося солдата, – Шестов приходит к такому заключению: “Существенно только отметить и противопоставить одну другой две манеры видеть и изображать действительность. И если иметь в виду всю литературную деятельность Толстого, то можно, метафорически, конечно, и с подобающими ограничениями, сказать: в молодые и зрелые годы Толстой изображал жизнь, как очаровательный бал, под старость – как мучительное проведение сквозь строй” [19, т. 2, с. 109].

Бунин принимает шестовский символ “двойного зрения” писателя – дара “ангела смерти” – и по-своему развивает его в “Освобождении Толстого”. Однако неверно было бы полагать, что утверждение “откровений смерти” у Шестова, как и “чувства смерти” Бунина, вело к отрицанию жизни, некоему нигилизму по отношению к ней. В письме к дочерям от 13 апреля 1921 г. Шестов писал: «Не нужно думать, что откровения только от смерти. Смерть – величайшая тайна и величайшая загадка. <...> Но не меньшая тайна и не меньшая загадка – и *жизнь*. <...> Было бы большой ошибкой из “откровений смерти” выводить правила для жизни. Вся сущность в том, чтобы не выводить. Т.е. уметь брать жизнь целиком, вместе со всеми ее непримиримыми противоречиями. Иван Ильич в смертный час осуждает свою прошлую жизнь, но это не значит, что та жизнь была целиком негодной <...> Этого забывать не нужно, – иначе получается как раз обратное тому, что должно было получиться. Т.е. не полное, живое знание, а урезанное, отвлеченное. <...> Трудное, большое искусство уберечься от односторонности, к которой нас влечет невольно наш язык и даже воспитанная на языке наша мысль. Оттого нельзя ограничиваться одним писателем. Нужно

всегда иметь глаза открытыми. *Есть смерть и ее ужасы. Есть жизнь – и ее красоты.* <...> *Красота есть тоже источник откровения.* И даже откровение смерти есть, в последнем счете, искание за видимыми ужасами разложения и конца *невидимых начал новой красоты.* <...> Но у Толстого, как у Платона и Плотина, мысль о смерти всегда сопровождалась особенным чувством, чем-то вроде сознания, что впереди ужасы, но за спиной вырастают крылья. Вероятно, в таком роде что-то с гусеницей происходит, когда она прогрызает свой кокон. <...> Оттого и грызет, что крылья выросли. Так что ни Толстого, ни Плотина, ни Платона не следует понимать в том смысле, что они нас зовут забыть о жизни. Конечно, тот, кто знал состояние Ивана Ильича, иначе о многом судит, чем другие. Но от жизни не отворачивается. Скорее научается *видеть многое ценное* в том, что казалось прежде безразличным. Стало быть, *откровение смерти – не есть отрицание жизни, а наоборот, скорее утверждение, только утверждение не той обычной “мышьей беготни”, на которую люди разменивают себя*» (курсив наш. – Л.К.) [9, т. 1, с. 207].

Итак, “откровение смерти – не есть отрицание жизни”, а скорее утверждение ее, – подчеркивает Шестов. Со всею художнической мощью это звучит в творчестве Бунина, причем, независимо от Шестова и вообще от какой-либо книжной философии, рождаясь из самого существа художника, органики его духовного опыта. Именно “чувство смерти” в художественном мире Бунина не роняет, а напротив, усиливает, удваивает *осознание ценности жизни*, питает остроту и напряженность его “повышенного чувства жизни”.

Важнейшая грань стоящей перед нами проблемы – это соотношение *жизни и разума* в понимании Бунина и Шестова. Философия Шестова расценивается обычно в философской критике как философия иррационализма, утопического восстания против научного разума, его законов и понятий. Философ действительно выступал с критикой позитивистского упования на всемогущество разума, развенчивал распространенный в сознании человечества *культ идей*. Шестов был одним из тех “неклассических” философов XX века, которые верили в примат творчества над познанием и стремились утвердить превосходство над рационалистическим, “научным” познанием – постижения интуитивного, через “иные проникновения” в истину, нежели логические, “иные проникновения, чем у нас на земле...” [19, т. 2, с. 80]. Неслучайно вся философия Шестова опиралась на художественную литературу, на великие ее явления, образцы и открытия.

Бунт Шестова против “общих понятий”, “логики”, “науки”, давал основание его философию счастье “гносеологической утопией”, как это делали его критики – от Н. Бердяева до Р. Гальцевой и В. Ерофеева. Но в чем был прав Шестов?

Следуя за Протагором, Шестов исходил из того, что человек – “над разумом”. Он утверждал: “В жизни есть нечто большее, чем разум. *Сама жизнь* течет из источника, *высшего, чем разум*. Т.е. то, что разум не постигает, не всегда есть невозможное” (курсив наш. – Л.К.) [19, т. 2, с. 123]. Разум не спасает от отчаяния, от трагедии и безнадежности [20, с. 32]. От отчаяния спасает вера, и только она. Эта мысль таится уже в “Апофеозе беспочвенности”, а затем все полнее оформляется в последующих книгах Шестова, вплоть до “Sola fide” (Только верою) и дальше. Разум легко подкупается, оттого что клюет на “пользу” и выгоду. Современный разум – “падший разум”: он изменил собственной – созерцательной – природе и пошел в услужение пользе. И он “вместо истины подсовывает полезные для действия и потому общеприемлемые, самоочевидные суждения” [19, с. 127]. Положительная наука, выводя свои “законы” и “необходимости”, обявляет человеческий ум подчиняться “необходимости”, приручает человека, превращает его в “рыцаря покорности” [20, с. 220].

Но что означает эта шестовская война против необходимости, в самом деле похожая на “гносеологическую утопию”? Когда отчаяние Шестова выкрикивает свое “колотиться головой о стену” [21, с. 59], что имеется в виду – возможность разбить собственную голову или пробить стену? Вероятно, и то и другое. Вернее, или – или... И чем может быть оправдан такой самоубийственный риск? (Переключка с Ницше здесь несомненна.) Тем, что, по убеждению Шестова, утверждаемая “положительными науками” “необходимость” действительной непреодолимой необходимостью может и не быть. Важнее и ценнее всего для Шестова оказывается возможность развязать скованную всяческими стереотипами и очевидностями самостийный “почин” личности. Ведь в человеке только изредка просыпается свободная воля, способная пренебречь пользой. “Не худшие из нас, а лучшие – живые автоматы, заведенные таинственной рукой и не дерзающие нигде и ни в чем проявить свой собственный почин, свою личную волю” [19, с. 50].

Надо отдать должное философу в его борьбе против культа **идей**, против идолопоклонства перед ними, ставшего опасной болезнью сознания в XX веке, особенно в России. В письме к своему

другу Н. Бердяеву Шестов писал: “Ты обоготворяешь идеи, а я не выношу обоготворения идей”. И далее: «Ведь идола можно сделать не только из дерева, но и из идеи. “Единство” истины – один из таких идолов» [14, с. 256]. “...Ничто не приносит миру столько вражды, и самой ожесточенной, сколько идея единства” [14, с. 257], – утверждал он и позднее, в 1924 г.

Опасность “обоготворения идей” остро чувствовали наиболее чуткие художники XX столетия: А. Чехов, В. Розанов, А. Ремизов, Л. Андреев, Е. Замятин и другие. И Бунин – в числе первых. В романе Бунина “Жизнь Арсеньева”, как позже в романе Пастернака “Доктор Живаго”, совершался необходимый для русской литературы переход от романа идей к роману жизни, потока жизни. И совершался он в продолжение толстовских и чеховских традиций и в пересечении с началами западноевропейского романа XX века, прежде всего прустовского “В поисках утраченного времени”. Русское романное сознание начинало освобождаться от господствовавшего в нем прежде обольщения могуществом идей, от уверенности в их превосходстве над жизнью и власти над ней. Вопрос о том, кто является главным героем романа “Жизни Арсеньева”, не так прост, как кажется. Арсеньев, от лица которого ведется повествование, несомненно, близок автору, и это делает роман отчасти автобиографическим и лирически окрашенным. Однако в “Жизни Арсеньева” нет выдержанного и последовательного автобиографизма. Строго говоря, в романе отсутствует причинно-следственная и временная последовательность событий, в нем нет целеустремленного движения героя. Вообще, не какая-либо цель определяет его поступки и внутреннее развитие. Вспомним: Арсеньев уклоняется от привычного для юноши пути – отказывается от продолжения учения, бросает гимназию, не ищет службы, не домогается карьеры (служба его временна, случайна); творческие занятия Арсеньева, его писательские пробы тоже эпизодичны и не становятся в романе предметом сколько-нибудь развернутого авторского описания.

Главное действующее лицо бунинского романа – бесцельно-блаженный поток жизни, стихийная сила бытия². “Блаженно-хмельная” душа Арсеньева с радостной готовностью погружается в этот поток, подчиняется “покоряющей силе” движения, и тогда он признается: “Несет меня лиса за темные леса, за высокие горы”, – а что за этими лесами и горами – неведомо” [18, т. 6, с. 203].

² Об этом впервые убедительно писал в своей монографии [22] Ю. Мальцев.

В изображении этой силы жизни у автора с удивительной органичностью сочетается свойственная ему чувственная яркость и конкретность картин со звучанием бытийных, “вселенских” проблем – роли времени и вечности в человеческом существовании, преодоления времени в памяти, смерти и “освобождения” от нее, вопросов о месте природы в сознании современного человека, наконец, о его сокровенной сущности. Однако “Жизнь Арсеньева” – и не философский роман. Не думы, не размышления (“Что я думал, если это только были думы...” [18, т. 6, с. 53]) составляют основную ткань произведения, а поток образов внутреннего видения героя, работа души, рефлексия непосредственных переживаний.

В образе центрального героя автор стремится прежде всего уловить и запечатлеть истоки “поэзии души и жизни”. Первоначалом этого становится естественная включенность героя в мир бесконечный, космический. Мотив бесконечности, заново прозвучавший, особенно у символистов, в поэзии XX века и во многом преобразовавший всю поэтическую культуру столетия, очень существенен в “Жизни Арсеньева”.

Первые главы романа, где идет речь о детстве героя, – это не картины быта, ограниченного стенами дома, не фигуры окружающих ребенка людей (они вырисовываются начиная только с пятой главы!), а образы земли, неба, мира природы, Вселенной. Ранние детские впечатления Арсеньева складываются из образов “пустынных полей, одинокой усадьбы среди них”, “вечной тишины полей, загадочного молчания”, пустынности, безлюдности и одиночества человеческого существования в мире (“Где были люди в это время?”; “Я совсем, совсем один в мире...”; “А не то вижу я себя в доме, и опять в летний вечер, и опять в одиночестве”). Из общего фона раньше всего выделяются в сознании героя не лица матери, отца, няни или братьев с сестрами (хотя они есть, они названы), а “томящая красота” облаков, “синей бездны” и “поднебесного простора”. Не родное лицо склонялось над ним в детской поздним вечером, а “все глядела на меня в окно, с высоты, какая-то тихая звезда...” [18, т. 6, с. 9–10].

Позже, через годы, герой признается: “Это стыдно, неловко сказать, но это так: я родился во вселенной, в бесконечности времени и пространства...” (курсив наш. – Л.К.) [18, т. 6, с. 237]. Именно так: я и мир, я в мире с его манящей беспредельностью, – такова ключевая точка зрения героя-повествователя в романе, которая сообщает размах повествованию и его основной тон – призывный голос простора, свободы и “дали”.

В подходе к проблеме: жизнь (чувство) и разум – Шестов последовательно отдавал предпочтение “жизни”: “В конце концов, выбирая между жизнью и разумом, отдаешь предпочтение первой” [23, с. 91], – утверждал он еще в “Апофеозе беспочвенности”. Примечательно, например, такое свидетельство Евгении Герцык из ее воспоминаний о Шестове относительно восприятия им трагедий Ибсена, освещения в них *любви*. Шестов говорил об Ибсене, “выделяя заветную его тему: страшнее всего, всего губительней для человека отказаться от любимой женщины, предать ее ради долга, *идеи*. От женщины, *т.е. от жизни, что глубже смысла жизни*” (курсив наш. – Л.К.) [24, с. 147].

Чтобы выяснить меру объективности названных воспоминаний, обратимся к их непосредственному и прямому источнику – статье Шестова об Ибсене “Победы и поражения”, где звучит, многократно варьируясь, тот же мотив:

“Всем может поступиться человек ради друга – только не любимой женщиной”, – говорит валькирия Йордис в пьесе “Северные богатыри” [25, с. 131].

“Почему можно поступиться всем – только не любимой женщиной?” – таким вопросом задается автор статьи [25, с. 132].

И еще раз: “Всем можно пожертвовать – только не любимой женщиной” [25, с. 133].

“Йордис не доказывала, что покинуть любимую женщину есть величайшее из преступлений” [25, с. 133].

Эту мысль Шестов поворачивает в статье всеми возможными гранями, освещая ее с точки зрения героини ибсеновской пьесы (Йордис), исходя из взглядов самого драматурга и их эволюции (от пьесы “Северные богатыри” к “Комедии любви” и далее), наконец, с собственной, философской точки зрения. Вдохновение валькирии не нуждается в доказательствах. Однако, на взгляд большинства людей, суждение Йордис – безумие, которое нельзя воспринимать всерьез. Г. Ибсен в своей художественной эволюции подвергает подобную мысль творческому “суду”, переходя от свободы “вдохновения” к обыденной трезвости (“Комедия любви”). Сам Шестов слова Йордис называет “*захватывающими*”: в них прорывается свобода индивидуальности, которая не покоряется правилам извне и не признает “привилегий морали”, в них живет надежда на новый порядок (“новые законы”) человеческих отношений и ценностей жизни.

Любовь у Бунина, как мы знаем, предстает некоей первородной энергией жизни, которая может обернуться для человека и трагической катастро-

фой, и ликующей красотой “легкого дыхания”, и потому она подвластна суду *только эстетическому* и никакому другому, не исключая морального. И в этом Бунин и Шестов тоже солидарны. Тексты бунинских рассказов о любви, особенно “Темные аллеи”, это подтверждают.

Н. Бердяев в философии Шестова видел “*апофеоз жизни*” [26, с. 100]. В докладе 1966 года, посвященном столетию со дня рождения философа, Оливье Клеман говорил: “Меня поражает в Шестове его глубокая тоска по непосредственности, свободе, радости. Бог Шестова – именно Бог *радости*” (цит. по [9, т. 2, с. 224]). По воспоминаниям Бенжамена Фондана, после смерти Шестова у его постели лежала книга “Das System de Vedanta” (“Brahma Sutra” и др.) в переводе Дейсена, которая была открыта на главе: “Брама как радость” (цит. по [9, т. 2, с. 203]).

Все это и было почвой для определенной духовной близости писателя и философа, Бунина и Шестова. Интерес же к индийской философии, занимавший Бунина с давних пор, а у Шестова проявившийся в поздние его годы, тоже мог их сближать. Но это – отдельная тема.

Взаимодействие художественной литературы и философии идет сложными и разнообразными путями. Оно может осуществляться через осознанное обращение художника к книжным источникам (что характерно, скажем, было для символистов), через уловление самого “воздуха” эпохи, переживание и осознание близкого художнику и философу жизненного и исторического опыта (что преимущественно значимым было, например, для Горького в его отношении к Ницше), наконец, посредством личных, дружеских контактов. Для Бунина в отношении к философским текстам Шестова реальными были все три пути, но особенно важными были, видимо, два последних.

Приведенные в статье “переклички” по своей природе и происхождению представляют собой проявления типологической близости (отношение писателя и философа к смерти, к любви, к рациональному началу в жизни), а также следствия “веяний” философских работ Шестова, по-своему воспринятых Буниным (символ “двойного зрения”, трактовка поздних произведений Толстого). В целом, проделанный опыт сопоставлений и параллелей между творчеством Бунина и Шестова в чем-то оспаривает довольно устойчивое представление о философской индифферентности Бунина, равнодушии его к современной ему философии, и свидетельствует, напротив, о живом интересе писателя к ней, к той ветви экзистенциальной философии, которую развивал Лев Шестов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Евлатилов И.И.* Становление европейской философии во второй половине XIX–начале XX века. СПб., 2008.
2. *Степун Ф.* Бывшее и несбывшееся. Изд. 2. Т. 1. Лондон, 1990.
3. *Шестов Л.* Собр. соч. Т. 4. Paris, 1971.
4. *Ремизов А.* Огонь вещей. М., 1989.
5. *Иванов-Разумник Р.В.* О смысле жизни. Ф. Сологуб, Л. Андреев, Л. Шестов. Изд. 2. СПб., 1910.
6. *Кодрянская Н.* Алексей Ремизов. Париж, б/г.
7. Бунин И.А. Новые материалы. Выпуск 1. М., 2004.
8. *Кибальник С.А.* Газданов и Лев Шестов // Русская литература. 2006. № 1.
9. *Баранова-Шестова Н.* Жизнь Льва Шестова. По переписке и воспоминаниям современников. Т. 1, 2. Париж, 1983.
10. Устами Буниных. Дневники Ивана Алексеевича и Веры Николаевны и другие архивные материалы / Под ред. Милицы Грин. Т. 1–3. Frankfurt/Main, 1977–1982.
11. *Шестов Л.* Дерзновения и покорности // Наше наследие. 1988. № 6. Публикация Е. Барабанова (Вступ. статья “Голос вопиющего в пустыне”).
12. Бунин И.А. О Чехове // Бунин И.А. Собр. соч. Т. X. Берлин, “Петрополис”, 1935.
13. *Шестов Л.* Достоевский и Нитше (Философия трагедии). СПб., 1909.
14. *Бердяев Н.* Трагедия и обыденность (Лев Шестов “Достоевский и Ницше” и “Апофеоз беспочвенности”) // Вопросы жизни. 1905. № 3.
15. Л. Шестов – Н. Бердяеву. Париж. 1924 // Мосты. Мюнхен. 1961. № 8.
16. *Сливицкая О.* “Повышенное чувство жизни...”: Мир И. Бунина. М., 2004.
17. *Ницше Ф.* О пользе и вреде истории для жизни. Сумерки кумиров, или Как философствовать молодом. О философах. Об истине и лжи во вненравственном смысле. М.; Минск, 2008.
18. Бунин И.А. Собр. соч. В 9 т. М., 1965–1967.
19. *Шестов Л.* На весах Иова (Странствования по душам) // Шестов Л. Соч. В 2 т. Т. 2. М., 1983.
20. *Шестов Л.* Разрушающий и созидающий миры (По поводу 80-летнего юбилея Толстого) // Шестов Л. Великие кануны. М., 2007.
21. *Шестов Л.* Начала и концы // Шестов Л. Собр. соч. Т. 5. СПб., (б/г).
22. *Мальцев Ю.* Иван Бунин. Frankfurt/Main; М., 1994.
23. *Шестов Л.* Апофеоз беспочвенности. М., 2004.
24. *Герцык Е.* Из воспоминаний // Герцык Е. Лики и образы. М., 2007.
25. *Шестов Л.* Победы и поражения (Жизнь и творчество Генриха Ибсена) // Шестов Л. Великие кануны. М., 2007.
26. *Бердяев Н.* Лев Шестов и Киркегор. О русской философии. В 2 частях. Ч. 2. Свердловск, 1991.